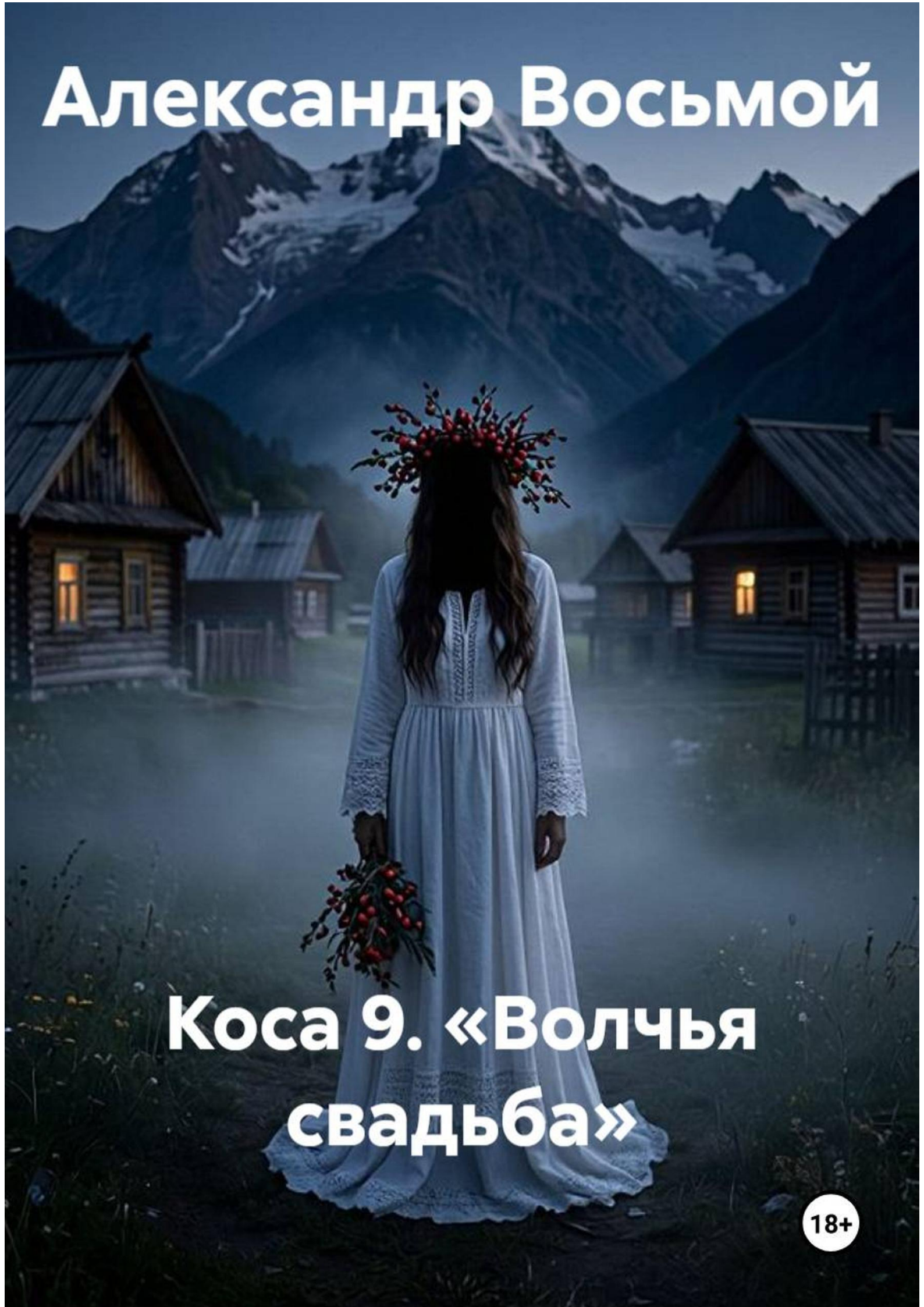


A woman with long dark hair, seen from behind, stands in a misty mountain village at night. She is wearing a long white wedding dress with lace details and a crown of red berries. She holds a bouquet of red berries in her right hand. The background features snow-capped mountains and several wooden log cabins with warm lights glowing from their windows.

Александр Восьмой

Коса 9. «Волчья свадьба»

18+

Александр Восьмой
Коса 9. «Волчья свадьба»

«Автор»

2026

Восьмой А.

Коса 9. «Волчья свадьба» / А. Восьмой — «Автор», 2026

Раз в сто лет в горной деревне играют свадьбу — волк берёт девушку в жёны. Это не метафора. Накануне свадьбы все жители запирают двери и не выходят до утра. Невесту оставляют одну на главной площади, в белом платье, с венком из волчьих ягод. К утру на площади остаются только платье и венок. Девушки нет. Но через семь лет она возвращается — с ребёнком, у которого янтарные глаза и слишком много зубов.

© Восьмой А., 2026

© Автор, 2026

Александр Восьмой

Коса 9. «Волчья свадьба»

Пролог. Слово старухи-шаптуны

Верещагино стоит в котле гор, и раз в сто лет горы требуют плату. Старуха зажигает свечу на чердаке и шепчет: «Кто запрёт дверь — переживёт. Кто заплачет — перезреет». На этот раз долг назовут через семь дней. И у долга есть имя: Аграфена.

Семь дней — это много, если считать по часам, и ничтожно мало, если мерить их тишиной. А тишина в Верещагино с каждым рассветом становилась тяжелее, будто горы потихоньку опускали на деревню ещё один невидимый пласт камня.

Аграфена не знала, что её имя уже названо. Она шла по тропе, где мох цеплялся за сапоги, как пальцы утопленника, и думала только о том, что в погребе кончается соль, а на чердаке снова шуршат мыши. Но когда она свернула к дому старухи-шаптуны, воздух вдруг стал густым, как кисель, и каждый вдох отдавался в груди чужим, не своим ритмом.

Старуха сидела на пороге, не приглашая войти, но и не прогоняя. В её пальцах тлела сухая трава, и дым поднимался не вверх, а стелился по земле, обвивая ноги Аграфены, словно змея, пробующая жертву на вкус.

— Ты не спрашивай, — хрипло сказала старуха, не глядя на девушку. — Я сама скажу. Горы знают, кого звать. Раз в сто лет они берут невесту. Не для смеха, не для игры. Волк не метафора, девочка. Он настоящий, и зубы у него длиннее твоих пальцев.

Аграфена хотела рассмеяться — так нелепо это звучало среди кур, пыльных корзин и запаха сушёной мяты. Но смех застрял в горле, потому что старуха подняла глаза, и в них не было ни злости, ни жалости — только холодная, древняя уверенность, от которой по спине бежали мурашки, будто кто-то провёл по коже ледяной иглой.

— Твоё имя названо, — прошептала старуха. — Семь дней. Потом на площади будет белое платье и венок из волчьих ягод. А утром останется только это. И тишина.

Аграфена попятилась, споткнулась о порог, упала на колени, но старуха даже не шевельнулась, чтобы помочь. Только дым всё так же полз по земле, теперь уже кольцами, будто отмечая невидимую границу: шаг за черту — и назад дороги не будет.

В тот вечер Аграфена заперла дверь на два засова и придвинула к ней тяжёлый сундук. Но ночью, когда ветер выл так, будто где-то далеко рвали на части шкуру, она услышала, как кто-то тихо царапается с той стороны — не когтями, нет, скорее ногтями, будто очень долго не стриженными. И этот звук был страшнее любого волчьего воя, потому что он звучал так, словно кто-то уже знал, что дверь заперта, и просто ждал, когда страх сделает её рукой достаточно слабой, чтобы повернуть щеколду изнутри.

К утру Аграфена сидела у окна, не смыкая глаз, и смотрела, как рассвет медленно заливает крыши розоватым светом. Горы стояли неподвижно, но в их молчании чувствовалось нетерпение — как у хищника, который уже выбрал жертву и теперь просто отсчитывает мгновения до прыжка.

Глава 1. Дорога, что не кончается

Верстовой столб у околицы зарос дурман-травой — её стебли вились по дереву, будто чьи-то длинные, терпеливые пальцы, намертво вцепившиеся в память о тех, кто уходил и не возвращался. За столбом начиналась дорога — та самая, по которой приезжали сваты в тумане, в тулупах наизнанку, и никогда не давали задний ход коням: будто сам путь не позволял повернуть назад, стирая следы тех, кто посмел передумать.

Аграфена, дочь угольщика, шла по опушке, где земля ещё пахла зимней сыростью, а воздух был таким густым, что каждый вдох казался испытанием. Она не собиралась уходить

далеко — только проверить ловушки, да собрать сухих веток для печи, да убедиться, что на краю леса не бродит голодный зверь. Но лес будто подталкивал её вперёд, шептал сухими ветками, звал туда, где тропа терялась в тени старых елей.

И там, у поваленного ствола, лежал венок из волчьих ягод. Свежий. С каплями росы, будто его только что сплели и тут же бросили, не успев примерить. Ягоды были тёмно-бордовыми, почти чёрными, и блестели так, словно внутри них пряталась не мякоть, а густая, тягучая тьма. Аграфена замерла. Лета в горах ещё не было и в помине — ни травы по колено, ни цветов, ни даже робких почек на кустах. Откуда же взялся этот венок, влажный от росы, будто только что сорванный?

Она не хотела его брать. Правда не хотела. Но пальцы сами потянулись, будто кто-то невидимый мягко подтолкнул её руку. И когда холодные ягоды коснулись кожи, Аграфене показалось, что по венам вместо крови потекла ледяная вода. В тот же миг лес вокруг будто выдохнул — и наступила тишина, такая плотная, что даже ветер перестал шуршать листвой.

«Не трогай», — прозвучало у неё в голове чужим голосом, низким и хриплым, будто сказанным сквозь стиснутые зубы. Но венок уже лежал у неё на ладони, тяжёлый, будто отлитый из свинца, и пах не лесом, не травой, не дождём — а холодом, который бывает только у порога чужой могилы.

Аграфена оглянулась, надеясь увидеть того, кто сплёл этот венок. Но никого не было. Только тени между деревьями стали длиннее и гуще, будто нарочно вытягивались, чтобы скрыть чью-то фигуру. И всё же она чувствовала: тот, кто его сплёл, был здесь. Он видел её. И теперь знал, что она взяла.

Когда она вернулась к околице, солнце уже клонилось к закату, и верстовой столб отбрасывал длинную тень, похожую на вытянутую руку, указывающую на дорогу. Ту самую, по которой не возвращаются. В деревне уже закрывали ставни, торопливо, будто боялись, что ночь ворвётся раньше времени. Никто не окликнул Аграфену, никто не спросил, где она пропадала. Только старуха с краю села, та, что знала все старые слова и никому их не рассказывала, посмотрела на неё долгим, тяжёлым взглядом и тихо прошептала:

— Теперь ты на дороге. А дорога не кончается.

Аграфена хотела бросить венок в костёр, сжечь, стереть с себя это липкое, холодное чувство, будто она надела чужую судьбу. Но стоило ей разжать пальцы, как венок будто прилип к ладони, и оторвать его получилось лишь с тихим, противным звуком, похожим на хруст сухих костей. Когда он наконец упал на землю, ягоды вспыхнули тусклым, янтарным светом — ровно на мгновение, — и тут же погасли, оставшись обычными, тёмными, зловещими.

В ту ночь Аграфена не могла уснуть. Ей казалось, что за стеной кто-то ходит — не человек, слишком тяжело и ровно, будто лапы с длинными когтями меряют расстояние до её порога. И каждый раз, когда она поднимала голову, в щели между ставнями мелькал янтарный отблеск — быстрый, как вспышка молнии, и такой холодный, что от него стыла кровь.

К утру деревня будто забыла, что Аграфена вообще выходила за околицу. Никто не вспоминал про венок. Никто не спрашивал, почему её глаза стали чуть светлее, будто в них поселилась чужая, древняя тоска. Только дорога за верстовым столбом теперь смотрела на неё иначе — не как путь, а как обещание, которое уже принято, даже если она никогда его не давала.

Глава 2. Сваты из-под корней

В ночь на Кузьму-Демьяна у кузни старика Тимофея заговорило железо. Сперва это был тихий, едва уловимый скрежет — будто кто-то водил ногтем по остывшему металлу. Потом зашептали напёрстки, сложенные в жестяной коробке: они тёрлись друг о друга с сухим, противным звуком, похожим на шёпот сплетниц. А под конец застонала наковальня — не скрипом старого дерева, а тяжёлым, утробным стоном, будто внутри неё ворочалось что-то живое.

Тимофей проснулся от этого звука, как от толчка в грудь. Он сел на лавке, щурясь в темноте, и почувствовал, как по спине ползёт холод, не от ночной сырости, а от чего-то куда более древнего и злого. В кузнице было темно, но в углах шевелились тени — не от огня, потому что очаг давно погас, а будто сами углы источали эту тьму, густую, маслянистую, липнущую к коже.

Он встал, накинул тулуп и вышел во двор. Мороз тут же вцепился в лицо, но Тимофей почти не чувствовал его — всё его внимание приковало то, что лежало на пороге. Кольцо из кости. Белое, почти светящееся в лунном свете, и... тёплое. Не так, как бывает тёплый камень на солнце, а по-настоящему, будто его только что вынули из-под шкуры, и в нём ещё теплилась чужая жизнь.

Старик поднял кольцо дрожащей рукой и поднёс к глазам. Узоры на нём были ему знакомы до последней чёрточки — он сам выковал его тридцать лет назад. Для невесты, которую так и не дождался. Она ушла в лес на рассвете, когда туман ещё лежал на тропках, как мокрое полотно, и больше не вернулась. Говорили, что заблудилась. Говорили, что её унесли волки. Но Тимофей знал правду, которую в деревне боялись произносить вслух: её забрали сваты. Те, кто приходит не с подарками и песнями, а с тишиной, которая тяжелее камня.

Утром деревня ходила притихшая, будто каждый боялся своим голосом разбудить то, что шевелилось под корнями старых деревьев. Двери запирали на двойные засовы, ставни закрывали до последней щели, а над косяками чертили углём знаки, которые старики помнили с детства. Но эти знаки были не от волков — волки были бы понятнее, страшнее, но понятнее. Эти знаки ставили от сватов. От тех, кто стучится не кулаком, а тенью, и чьё «да» звучит как хруст сухой ветки под сапогом.

Тимофей пошёл по деревне, показывая кольцо, надеясь, что кто-нибудь рассмеётся, скажет, что это шутка, что мальчишки подбросили старую безделушку, чтобы напугать старика. Но люди отводили глаза, сжимали губы и торопливо прятали руки в рукава. Только старуха Марфа, сидевшая на завалинке, посмотрела на кольцо долгим, пустым взглядом и прошептала:

— Так вот оно как. Значит, срок пришёл. Раз в сто лет горы требуют плату. И нынче долг зовут по имени.

— Чьё имя? — хрипло спросил Тимофей, чувствуя, как холод подбирается уже не к спине, а к самому сердцу.

Марфа покачала головой, будто не хотела произносить это вслух, но слова всё равно сорвались с её губ, тяжёлые, как камни:

— Аграфена. Её имя нынче на устах у гор. Сваты уже вышли из-под корней. И они не уйдут без невесты.

К полудню по деревне пополз шёпот, густой и липкий, как смола. Говорили, что на главной площади уже лежит белое платье — тонкое, невесомое, будто сотканное из утреннего тумана. И венок из волчьих ягод, свежий, с каплями росы, хотя ни дождя, ни росы этой ночью не было. Кто-то видел, как платье появилось само собой, будто выросло из камня мостовой. Кто-то клялся, что слышал тихий, ровный шаг за спиной — но, оборачиваясь, видел только пустую улицу и длинные тени, которые тянулись не от солнца, а из ниоткуда.

Вечером, когда солнце утонуло за хребтом, деревня замерла. Ни лая собак, ни крика петуха, ни даже скрипа половиц. Только ветер гудел в печных трубах, и этот гул был похож на далёкий, торжественный вой — как будто горы пели свою свадебную песню, и слова в ней были не для человеческих ушей.

Аграфена стояла у окна, прижимая ладони к холодному стеклу, и чувствовала, как в груди бьётся сердце — быстро, отчаянно, как птица, бьющаяся о прутья клетки. Она не знала, что её имя названо, но чувствовала: что-то изменилось. Воздух стал гуще, запахи — острее, а тишина — громче любого крика. И где-то глубоко внутри, под рёбрами, шевелилось знание, которого она никогда не получала: сегодня двери запирают не от волков. Сегодня они запирают их от неё — чтобы не дать ей сбежать.

Когда стемнело окончательно, Аграфена услышала тихий стук в дверь. Не настойчивый, не злой — вежливый, почти извиняющийся. Будто тот, кто стучал, знал, что она не откроет, но всё равно должен был постучать, чтобы соблюсти древний, жуткий этикет. Девушка замерла, вцепившись пальцами в край стола, и прошептала в темноту:

— Кто там?

Ответа не было. Только тишина, в которой вдруг стало слышно, как под корнями шевелятся сваты — те, кто не знает усталости, не знает жалости и не знает слова «нет». И как где-то далеко, на главной площади, белое платье ждёт свою хозяйку, а венок из волчьих ягод тихо шепчет имя, которое уже нельзя забыть.

Глава 3. Сговор

Староста собрал деревню в старой избе, где даже воздух был густым от старых страхов и забытых клятв. На балках чернели закопчённые руны, которые никто уже не умел читать, но все помнили: они ставились не для красоты, а чтобы держать снаружи то, что не должно переступить порог. Люди стояли тесно, плечом к плечу, будто так можно было спрятаться друг за друга, как дети прячутся от грозы.

Староста не тянул, не мямлил, не пытался смягчить слова. Он поднял голову, и в его глазах было столько усталости, будто он прожил не одну жизнь, а десяток — и все они были про эту самую ночь.

— Хватит врать себе, — сказал он глухо, и голос его прозвучал не как голос старосты, а как голос человека, который наконец решился сказать правду, зная, что после этого уже не будет ни прощения, ни покоя. — Имя невесты выбирает не жребий. Имя выбирает лес. И лес уже выбрал.

По избе прокатился тихий, сдавленный вздох — не крик, не ропот, а тот самый звук, который рождается, когда надежда уходит тихо, не хлопая дверью, а просто растворяется в темноте.

Когда люди разошлись, каждый нёс с собой не только тяжесть сказанного, но и то, что нашёл у себя на подоконнике. Тонкие полоски бересты, аккуратно срезанные, будто ножом, но с краёв они были не ровными, а рваными — как будто их грызли. И на каждой — имя, вырезанное не пером и не лезвием, а зубами. Глубокие ямки, круглые, с неровными краями, будто кто-то стискивал челюсти, чтобы оставить след.

Аграфена нашла свою бересту на подоконнике, там, где обычно ставила кружку с остывшим чаем. Она не сразу поняла, что это. Сначала подумала — детская шалость, чья-то злая шутка. Но когда провела пальцем по буквам, кожа на подушечках будто онемела, а холод поднялся от кончиков пальцев прямо к сердцу.

Имя было. А под ним — девять круглых ямок. Глубоких, будто выгрызенных в спешке, с такой силой, что береста треснула в нескольких местах. По числу дней до свадьбы.

Девять.

Она села на лавку, прижимая бересту к груди, словно это могло удержать внутри тот ужас, который уже рвался наружу. Девять дней. Каждый день — одна ямка. И кто-то считал. Кто-то готовился. Кто-то знал, что она не уйдёт.

В ту ночь деревня не спала. В каждом доме шептались, чертили углём знаки на косяках, прятали под подушки железные ножи — не от воров, не от зверей, а от того, что ходит тише любого шага и видит сквозь стены. Но в этих домах не прятали Аграфену. Никто не звал её к себе. Никто не предлагал ей угол, где она могла бы скрыться. Потому что все знали: если лес выбрал, то прятать бесполезно. Лес найдёт.

Только старуха Марфа пришла к её порогу. Не вошла, не постучала — просто встала в тени, будто сама стала частью темноты, и сказала тихо, так, чтобы слышала только Аграфена:

— Не пытайся бежать по тропам. Тропы сегодня слушают не твои шаги, а дыхание того, кто идёт следом. Если хочешь хоть немного времени — сиди тихо. Время теперь — твоя единственная монета. И его осталось девять.

Аграфена хотела спросить: «А что будет на десятый день?» — но язык не повернулся. Она и так знала ответ. На десятый день на главной площади появится белое платье. И веночек из волчьих ягод. И она выйдет к ним — не потому что захочет, а потому что лес перестанет оставлять ей выбор.

К утру бересты исчезли. Кто-то сжёг их в печках, кто-то зарыл под порогом, кто-то бросил в колодезь, надеясь, что вода унесёт проклятие. Но ямки на подоконниках остались. Девять круглых отметин на дереве, будто следы чьих-то зубов, вцепившихся в самую древесину и не желающих отпустить.

И каждый раз, проходя мимо, Аграфена чувствовала, как эти ямки смотрят на неё — не как отметины, а как глаза, следящие за каждым её движением, отсчитывающие мгновения до того, когда лес наконец заберёт своё.

Глава 4. Белое платье

Мать Аграфены шила подвенечное платье в тишине, которая была гуще любой темноты. Холст для него скатали на омуте — там, где в прошлую столетнюю свадьбу утопила невеста старую тоску, и вода с тех пор стала тяжёлой, будто впитала в себя все невысказанные слёзы деревни. Ткань ложилась на колени жёсткими складками, словно сопротивлялась тому, во что её хотели превратить.

Нитки были особенные — из бороды пастуха, что ушёл на луга и не вернулся. Говорили, будто он увидел то, чего человеку видеть не положено, и от ужаса перестал быть собой. Нитки цеплялись за иглу, будто помнили тепло чужой жизни, и тянулись неохотно, как будто не хотели связывать судьбу Аграфены с тем, что надвигалось из-за гор.

Аграфена сидела у печи, не поднимая глаз, и слушала, как игла ритмично пробивает холст — тук-тук, тук-тук — словно отсчитывала мгновения, которые ещё можно было назвать своими. Но за окном что-то ходило. Не человек — шаги были слишком ровные, слишком тяжёлые, будто каждый шаг вдавливал землю на ладонь вглубь. И время от времени раздавался тихий скрип — будто кто-то примерял саму ночь, пробуя, насколько она ему подходит.

Иногда доносилось дыхание — низкое, утробное, такое, какое бывает у зверя, который уже выбрал жертву и теперь просто ждёт, когда она сама выйдет навстречу. А потом слышался едва уловимый скрежет у двери — будто кто-то водил когтем по дереву, пробуя замок на зуб, проверяя, выдержит ли он хоть минуту против того, что пришло за своим.

В последнюю ночь шитья мать не гасила лучину. Её руки двигались всё медленнее, пальцы стали непослушными, будто холод пробирался под кожу и сковывал суставы. Аграфена хотела встать, забрать у неё иглу, сказать: «Хватит. Пусть будет как будет», — но слова застревали в горле, потому что она знала: если шить не закончить, случится что-то хуже. Будто само это платье было не просто тканью и нитками, а границей между тем, что ещё можно спасти, и тем, что уже отдано горам.

И когда игла в последний раз прошла сквозь подол, на ткани проступили следы. Не от чернил, не от грязи — а будто кто-то прошёл по нему босыми ногами... только следы были волчьими. Чёткие, глубокие, с отпечатками длинных когтей. Они тянулись от края подола вверх, будто платье уже носили, и оно помнило, кем.

Мать замерла, уронив иглу. Та звякнула о половицу — звук прозвучал неестественно громко в этой звенящей тишине. Женщина провела дрожащей рукой по следам, будто надеялась, что это обман зрения, игра света и тени. Но пальцы нащупали рельеф — каждую бороздку, каждый отпечаток когтя.

— Оно уже было на ней, — прошептала мать, глядя на дочь так, будто видела её в последний раз. — В ту свадьбу. И теперь снова ждёт.

Аграфена подошла ближе и коснулась следа. Холод ударил по коже, будто она опустила руку в тот самый омут, где скатывали холст. И в тот же миг ей показалось, что она слышит далёкий, низкий вой — не с улицы, не из леса, а откуда-то изнутри, из самой глубины костей, будто кровь вдруг вспомнила древний страх, который передавался от матери к дочери, от века к веку.

За окном снова скрипнуло. На этот раз ближе. Словно тот, кто ходил вокруг дома, наконец нашёл нужную точку — и теперь стоял прямо у косяка, прислушиваясь к каждому вздоху внутри. Аграфена посмотрела на дверь, и ей вдруг стало ясно: замок не удержит. Засовы не помогут. Потому что свадьба — это не похищение. Это сговор, в котором у деревни уже давно не осталось права голоса.

Мать свернула платье, завернув его в грубую мешковину, будто пыталась спрятать не ткань, а само предзнаменование.

— Завтра на рассвете его вынесут на площадь, — сказала она тихо, не глядя на дочь. — И венки уже там. Волчьи ягоды блестят, как капли крови на снегу.

Аграфена не ответила. Она смотрела на тёмное окно, за которым шевелилась ночь, и чувствовала, как время сжимается, как кожа на барабанах перед ударом. Девять дней кончились. Остался один. Тот самый, который никто не называет вслух, потому что имя ему — тишина, в которой даже собственное сердце звучит как предательство.

К утру дом опустел. Мать ушла первой, не оглядываясь, будто боялась, что если увидит лицо дочери ещё раз, то не сможет сделать то, что должна. Аграфена осталась одна — сидеть на лавке, смотреть на свёрток с платьем и слушать, как за стеной кто-то тихо дышит, дожидаясь, когда она встанет, выйдет и примет то, что уже давно было решено без неё.

Глава 5. Предсвадебная

Последние сутки пахли золой, медью и страхом — густым, липким, въедающимся в кожу так, что даже вода не смывала его. В Верещагино никто не спал: люди запирали окна трижды — на первый засов от ветра, на второй от беды, на третий от того, что не имеет имени. Вокруг домов сыпали золу из печей, тонкую, как пепел забытых молитв, надеясь, что она очертит границу, которую не переступит тьма. На ворота вешали по холодной медной подкове — не для удачи, а как последнюю монету, брошенную в ладонь судьбы в отчаянной попытке откупиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.